

Содержание

Венера в мехах.	5
Демонические женщины	169
Теодора (Из румынской жизни).	169
Рыжие волосы	178
Женщина-сирена	185
Асма	204
Вторая молодость	210
Подруги.	216
Живая скамья.	225
Власта	235
Лунная ночь.	244
Любовь Платона	322

Венера в мехах*

*И покарал его Господь
и отдал его в руки женщины.*

Кн. Юдифи, 16, гл. 7

У меня была очаровательная гостья.

Перед большим камином в стиле ренессанс, прямо против меня, сидела Венера. Но это не была какая-нибудь дама полусвета, ведущая под этим именем войну с враждебным полом — вроде какой-нибудь мадемуазель Клеопатры, — а настоящая и подлинная богиня любви.

Она сидела в кресле, а перед ней пылал в камине яркий огонь, и красный отблеск пламени освещал ее бледное лицо с белыми глазами, а время от времени и ноги, когда она протягивала их к огню, стараясь согреть.

Голова ее поражала дивной красотой, несмотря на мертвые каменные глаза; но только голову ее я и видел. Величавая богиня закутала все свое мраморное тело в широкие меха и, вся дрожа, сидела свернувшись в комочек, как кошка.

Между нами шел разговор...

* Перевод Р. М. Маркович.

* * *

— Я вас не понимаю, сударыня, — воскликнул я, — право же, теперь совсем уже не холодно! Вот уже две недели, как у нас стоит восхитительная весна. Вы, очевидно, просто нервны...

— Благодарю за вашу весну! — отозвалась она своим глубоким каменным голосом и тотчас же вслед за этими словами божественно чихнула — даже два раза, быстро, один за другим. — Этого положительно сил нет выносить, и я начинаю понимать...

— Что, глубокоуважаемая?

— Я готова начать верить невероятному, понимать непостижимое. Мне сразу становится понятной и германская женская добродетель, и немецкая философия, — и меня перестает поражать то, что вы любите не умеете, что вы и отдаленного представления не имеете о том, что такое любовь...

— Позвольте, однако, сударыня!.. — воскликнул я, вспыхив. — Я положительно не дал вам никакого повода...

— Ну, вы другое дело! — божественная чихнула в третий раз и с неподражаемой грацией повела плечами. — Зато я была к вам неизменно благосклонна и даже время от времени навещаю вас, хотя, благодаря множеству своих меховых покровов, каждый раз простуживаюсь. Помните ли вы, как мы с вами в первый раз встретились?

— Еще бы! Мог ли бы я забыть это! — ответил я. — У вас были тогда пышные каштановые локоны, и карие глаза, и ярко-розовые губы, но я тотчас же узнал вас по овалу лица и по этой мраморной бледности... Вы носили всегда фиолетовую бархатную кофточку с меховой опушкой.

— Да, вы были без ума от этого туалета... И какой вы были понятливый!

— Вы научили меня понимать, что такое любовь. Ваше веселое богослужение заставило меня забыть о двух тысячелетиях...

— А как беспримерно верна я вам была!

— Ну, что касается верности...

— Неблагодарный!

— Я совсем не хотел упрекать вас. Вы, правда, божественная женщина, — и, как всякая женщина, вы в любви жестоки.

— Вы называете жестокостью то, — с живостью возразила богиня любви, — что составляет главную сущность чувственности, веселой и радостной любви, то, что составляет природу женщины: отдаваться, когда любит, и любить все, что нравится.

— Да разве может быть что-нибудь более жестокое для любящего, чем неверность возлюбленной?

— Ах, мы и верны, пока любим! — воскликнула она. — Но вы требуете от женщины, чтобы она была верна, когда и не любит, чтобы она отдавалась, когда это и не доставляет ей наслаждения, — кто же более жесток, мужчина или женщина? Вы, северяне, вообще понимаете любовь слишком серьезно и сурово. Вы толкуете о каких-то обязанностях там, где речь может быть только об удовольствиях.

— Да, сударыня, — и зато у нас такие почтенные и добродетельные чувства и такие длительные связи...

— И так же вечно это тревожное, ненасытное, жадное стремление к языческой наготе, — вставила она. — Но та любовь, которая представляет высшую радость, воплощенное божественное веселье, — эта не по вас, она не годится для вас, современных детей рассудочности. Для вас она несчастье. Когда вы захотите быть естественными, вы впадаете в пошлость. Вам представляется природа чем-то враждебным, из нас, смею-

щихся богов Греции, вы сделали каких-то злых демонов, меня представили дьяволицей. Меня вы умеете только преследовать, заточать и проклинать — или же, в порыве вакхического безумия, сами себя заклать, как жертву, на моем алтаре. И когда у кого-нибудь из вас хватает мужества целовать мои яркие губы, — он тотчас бежит искупать это паломничеством в Рим босиком и в покаянном рубище ждет, чтоб высохший посох дал зеленые ростки, — тогда как под моими ногами вечно прорастают живые розы, фиалки и зеленый мирт, но вам не по силам упиваться их ароматом. Оставайтесь же среди вашего северного тумана, в дыму христианского фимиама, — а нас, язычников, оставьте под грудой развалин, под застывшими потоками лавы, не откапывайте нас! Не для вас были воздвигнуты наши Помпеи, наши виллы, наши бани, наши храмы — не для вас! Вам не нужно богов! Мы гибнем в вашем холодном мире!

Мраморная красавица закашляла и плотнее запахла темный соболий мех, облежавший ее плечи.

— Благодарю за данный нам классический урок, — ответил я. — Но вы ведь не станете отрицать, что по природе мужчина и женщина — в вашем веселом, залитом солнцем мире, так же как и в нашем туманном, — враги; что любовь только на короткое время сливает их в единое существо, живущее единой мыслью, единым чувством, единой волей, чтобы потом еще сильнее разъединить их. И — это вы лучше меня знаете — кто потом не сумеет подчинить другого себе, тот страшно быстро почувствует ногу другого на своей спине...

— И обыкновенно даже, именно мужчина ногу женщины... — воскликнула мадам Венера насмешливо и высокомерно. — Это-то уж вы лучше меня знаете.

— Конечно. Вот потому-то я и не строю себе иллюзий.

— То есть вы теперь мой раб без иллюзий... и я за то без сострадания буду топтать вас...

— Сударыня!

— Разве вы до сих пор меня не знаете? Ну да, я жестока, — раз уж вам такое удовольствие доставляет это слово. И разве я не права тем, что жестока? Мужчина жадно стремится к обладанию, женщина — предмет этих стремлений; это ее единственное, но зато решительное преимущество. Природа отдала на ее произвол мужчину с его страстью, и та женщина, которая не умеет сделать его своим подданным, своим рабом, больше, своей игрушкой — и затем со смехом изменить ему, — такая женщина просто неумна.

— Ваши принципы, глубокоуважаемая... — начал я, возмущенный.

— ...покоятся на тысячелетнем опыте, — насмешливо перебила меня божественная, перебирая своими белыми пальцами темный волос меха. — Чем более преданной является женщина, тем скорее отрезвляется мужчина и становится властелином. И чем более она окажется жестокой и неверной, чем грубее она с ним обращается, чем легкомысленнее играет им, чем больше к нему безжалостна, тем сильнее разгорается сладострастие мужчины, тем больше он ее любит, боготворит. Так было от века во все времена — от Елены и Далилы и до Екатерины II и Лолы Монтец.

— Не могу отрицать, — сказал я, — для мужчины нет ничего пленительнее образа прекрасной, сладострастной и жестокой женщины — деспота, весело, надменно и беззаветно меняющей своих любимцев по первому капризу...

— И облаченной к тому же в меха! — воскликнула богиня.

— Как это вам в голову пришло?

— Я ведь знаю ваше пристрастие.

— Но, знаете ли, — заметил я, — с тех пор, как мы с вами не виделись, вы стали большой кокеткой...

— О чем это вы, позвольте спросить?

— О том, что в мире нет и не может быть ничего обворожительнее для вашего белого тела, чем этот покров из темного меха, и что он...

Богиня засмеялась.

— Вы грезите! — промолвила она. — Проснитесь-ка! — И она схватила меня за руку своей мраморной рукой. — Да проснитесь же! — прогремел ее голос низким грудным звуком.

Я с усилием открыл глаза.

Я увидел тормошившую меня руку, но рука эта оказалась вдруг темной, как из бронзы, и голос оказался сиплым, пьяным голосом моего денщика, стоявшего предо мной во весь свой почти саженный рост.

— Да вставайте же, что это, срам какой!

— Что такое? Почему срам?

— Срам и есть — заснуть одетым, да еще за книгой! — Он снял нагар с оплывших свечей и поднял выскользнувшую из моих рук книгу. — Да еще за сочинением (он открыл крышку переплета) Гегеля... И потом, давно пора уж к господину Северину ехать, он к чаю нас ждет.

* * *

— Странный сон!.. — проговорил Северин, когда я кончил рассказ, облокотился руками на колени, склонил лицо на свои тонкие руки с нежными жилками и глубоко задумался.

Я знал, что он долго так просидит, не шевелясь, почти не дыша; так это действительно и было. Меня не поражало его поведение — мы состояли с ним уже почти три года в отличных приятельских отношениях, и я успел привыкнуть ко всем его странностям.

А странный человек он был, этого отрицать нельзя было, хотя и далеко не такой опасный безумец, каким его считали не только ближайшие соседи, но и всюду окрест во всей Коломее. Меня же он не только интересовал — за это и я прослыл среди многих немножко свихнувшимся, — но и весь он был мне в высшей степени симпатичен.

Для его положения и возраста — он был галицийский дворянин и помещик, и было ему лет тридцать с небольшим — он был поразительно трезвомыслящий человек, очень серьезного склада, даже до педантизма. В основу своей жизни он положил полуфилософскую, полупрактическую систему, которую проводил с мелочной выдержанностью, и жил не только по ней, но в то же время еще и по часам, по термометру, по барометру, по аэрометру, по гигрометру. Но при этом временами его постигали припадки страстности, во время которых всякий, глядя на него, считал его способным головой стену прошибить и тщательно избегал его, боясь попасться ему на дороге.

Пока он так долго сидел безмолвно, кругом раздавались разнообразные звуки: потрескивал в камине огонь, пытел большой почтенный самовар, поскрипывало старое прадедовское кресло, в котором я, покачиваясь, курил свою сигару, трещал сверчок в стенах старого дома, — и глаза мои бесцельно блуждали по странной, оригинальной утвари, по скелетам животных, по чучелам птиц, по глобусам и гипсовым фигурам, которыми загромождена была его комната.

Вдруг мне на глаза случайно попала картина. Я часто видел ее и раньше, но отчего-то теперь я не мог оторвать от нее глаз: такое неизъяснимое впечатление произвела она на меня в эту минуту, освещенная красным отблеском пламени в камине.

На ней была изображена прекрасная женщина, с солнечно-яркой улыбкой на нежном лице, с пышной массой волос, собранных в античный узел, и с легким налетом белой пудры на них; опершись на левую руку, она сидела на оттоманке нагая, завернутая в меховой плащ, правая рука ее играла хлыстом, а обнаженная нога небрежно опиралась на мужчину, распростертого перед ней, как раб, как собака.

И этот мужчина, с резкими, но правильными и красивыми чертами лица, с выражением затаенной тоски и беззаветной страсти поднимавший к ней горячий мечтательный взгляд мученика, — этот мужчина, служивший подножной скамейкой ногам красавицы, был сам Северин. Только без бороды — по-видимому, лет на десять моложе, чем теперь.

— *Венера в мехах!* — воскликнул я, указывая на картину. — Такой я и видел ее во сне.

— Я тоже... — отозвался Северин. — Только я видел свой сон открытыми глазами.

— Как так?

— Ах, это очень глупая история.

— Твоя картина, вероятно, и послужила поводом для моего сна, — сказал я. — Ты должен мне рассказать, однако, что у тебя связано с этой картиной. Несомненно, она играла какую-то роль в твоей жизни, и, по-видимому, очень решительную... Я это представляю себе, но узнать все хочу от тебя.

— Взгляни-ка на другую, ее pendant, — сказал мой странный друг, не обращая внимания на мои слова.

Другая представляла превосходную копию известной тичиановской «Венеры с зеркалом» из Дрезденской галереи.

— Ну, что же ты хочешь сказать своим сопоставлением?

Северин встал и указал пальцем на картине мех, в который облек Тициан свою богиню любви.

— Здесь тоже «Венера в мехах», — сказал он с легкой улыбкой. — Не думаю, чтобы старый венецианец проявил в этом какой-нибудь умысел. Вероятно, он просто писал портрет какой-нибудь знатной Мессалины и был так любезен, что заставил держать перед ней зеркало — в котором она с холодным удовольствием исследует свои величавые чары, — Амура, а ему, по видимому, эта работа не очень сладка.

Эта картина — сплошная месть в красках. Впоследствии какой-нибудь «знаток» эпохи рококо окрестил эту даму именем Венеры, и меха деспотической красавицы, в которые закуталась прекрасная натурщица Тициана, наверное, не столько из целомудрия, сколько из боязни схватить насморк, сделались символом тирании и жестокости, таящихся в женщине и ее красоте.

Но дело не в этом. Картина эта, в своем нынешнем виде, является самой едкой, злой сатирой на нашу любовь. Венера, вынужденная кутаться на нашем абстрактном севере, в как лед холодном христианском мире, в просторные, тяжелые меха — чтобы не простудиться!..

Северин засмеялся и закурил новую папиросу.

В эту самую минуту скрипнула дверь и в комнату вошла, неся нам к чаю холодное мясо и яйца, красивая полная блондинка, с умными и приветливыми глазами, одетая в черное шелковое платье. Северин взял одно яйцо и разбил его краем ножа.